

1

За два года до того, как уйти из дома, отец сказал маме, что я совсем некрасивая. Сказал почти шепотом, в квартире, которую родители купили сразу после свадьбы в Рионе Альто*, в самой верхней точке виа Сан-Джакомо-деи-Капри. Все это — улицы и площади Неаполя, синий свет холодного февраля, слова отца — словно застыло. А я ускользнула и продолжаю ускользать между строчек, пытающихся сложиться в мою историю, хотя на самом деле у меня ее нет, у меня нет ничего своего, ничего, что по-настоящему началось или по-настоящему завершилось: лишь запутанный клубок — и никто, даже тот, кто пишет сейчас эти строки, не знает, запятана ли в нем нить повествования или это просто сжавшаяся в комок взъерошенная боль, от которой нет спасения.

* Рионе Альто (*Rione Alto*) — район Неаполя, расположенный на вершине холма Вомеро. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

2

Я очень любила отца, он всегда был заботливым и милым. Утонченные манеры соответствовали худощавому телу — любая одежда казалась ему велика, в моих глазах это придавало отцу неподражаемую элегантность. У него были тонкие черты лица, и ничто — ни идеально вылепленный нос, ни пухлые губы, ни глубокие, с длинными ресницами глаза — не нарушало общей гармонии. Со мной он всегда разговаривал весело, независимо от своего и моего настроения, и не уходил к себе в кабинет (отец все время работал), пока я хотя бы не улыбнусь. Больше всего ему нравились мои волосы — я уже и не вспомню, когда он начал их хвалить, наверное, мне было годика два или три. Зато я точно помню, что когда я была маленькая, мы вели такие разговоры:

— Какие красивые волосы, шелковистые, блестящие! Подаришь их мне?

— Нет, они мои.

— Ну не жадничай!

— Если хочешь, я их тебе одолжу.

— Ладно, но я их не верну.

— У тебя есть свои.

— Эти я забрал у тебя.

— Неправда, ты все придумываешь.

— Хочешь — проверь: они были такие красивые, что я их украл.

Я проверяла, но понарошку, я знала, что он бы ни за что не украл у меня волосы. А еще я смеялась, много смеялась, с отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать — ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько пре-

красны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна.

Конечно, отец вел себя подобным образом не со всеми. Иногда, если что-то его глубоко трогало, он взалхлеб рассуждал о сложных вещах, не сдерживая чувств. А иногда, напротив, бывал немногословен, отделялся короткими, меткими фразами, настолько емкими, что разговор сразу затухал. Эти два отца были совсем не похожи на того, которого я любила, я обнаружила их существование лет в семь-восемь, услышав, как отец спорит с друзьями и знакомыми, — они собирались у нас дома и горячо обсуждали то, в чем я ничегошеньки не понимала. Обычно я сидела с мамой на кухне и почти не обращала внимания на шедшие совсем рядом баталии. Но иногда, если мама тоже бывала занята и уходила к себе в комнату, я оставалась в коридоре одна — играла или читала, пожалуй, чаще читала, потому что отец много читал, мама тоже, а мне хотелось им подражать. Я не обращала внимания на взрослые споры и бросала чтение или игру, только когда в повисшей тишине внезапно раздавался один из “чужих” отцовских голосов. С этой минуты все его слушали, а я ждала, когда же закончится собрание, чтобы удостовериться, что отец опять стал таким, как обычно, — нежным и ласковым.

Тем вечером, за мгновение до того, как произнести врезавшиеся мне в память слова, отец узнал, что у меня не все в порядке с учебой. Для него это стало открытием. С первого класса я всегда училась хорошо и только в последние два месяца начала отставать. Родителям очень хотелось, чтобы у меня были высокие оценки, поэтому при первых тревожных звоночках они заволновались, особенно мама.

- Что с тобой?
- Не знаю.
- Надо стараться.
- Я стараюсь.
- Так в чем же дело?
- Что-то я помню, а что-то нет.
- Учи, пока все не запомнишь.

Я учила до изнеможения, но результаты все равно разочаровывали. В тот день мама ходила в школу беседовать с учителями и вернулась расстроенная. Она меня не ругала — родители никогда меня не ругали. Она лишь сказала: больше всего недовольна учительница математики, но она считает, что если ты захочешь, у тебя все получится. Потом мама ушла на кухню готовить ужин; тем временем вернулся отец. Я слышала из своей комнаты, как она пересказывает ему претензии учителей, и поняла, что она пытается меня оправдать, ссылаясь на переходный возраст. Однако отец перебил ее и голосом, которым он со мной никогда не разговаривал — с ноткой диалекта, строго-настрого запрещенного в нашем доме, — сказал, не сдержавшись, то, о чем ему лучше было бы промолчать:

— Причем тут переходный возраст, она становится похожа лицом на Витторию.

Знай отец, что я могу его услышать, он бы никогда не произнес это таким тоном, совсем далеким от того, каким велись наши обычные непринужденные, шуточные разговоры. Оба родителя полагали, что дверь в мою комнату закрыта, я всегда ее закрывала, и не заметили, что кто-то из них оставил ее приоткрытой. Так в двенадцать лет я узнала от отца, старавшегося говорить как можно тише, что становлюсь похожа на его сестру, на женщину, которая — отец твер-

дил это, сколько я себя помню, — воплощала уродство и злобу.

Мне возраят: наверняка ты преувеличиваешь, ведь отец не сказал: “Джованна уродина”. Действительно, ему было не свойственно выражаться так резко и грубо. Но я была тогда очень ранимой. Год назад у меня начались месячные, стала заметна грудь, которой я стеснялась, я считала, что от меня плохо пахнет, все время мылась, спать ложилась разбитой и разбитой же вставала. В то время единственным утешением, единственной опорой для меня был отец, который относился ко мне с безоговорочным обожанием. Поэтому сравнение с тетей Витторией было страшнее, чем если бы он сказал: “Раньше Джованна была красивая, а теперь стала уродиней”. Имя Виттории звучало в нашем доме как имя чудовища, которое все оскверняет, губит все, к чему прикасается. Я почти ничего не знала о ней, мы виделись считанные разы, но — в этом-то все и дело — от наших встреч в памяти остались только отвращение и страх. Не отвращение и страх, которые вызывала у меня Виттория, — ее я совсем не помнила. Меня пугали отвращение и страх, которые испытывали к ней родители. Отец о ней почти не упоминал, словно сестра занималась чем-то постыдным, чем-то, что покрывало грязью ее саму и всех, кто с ней сталкивался. Мама о ней вообще не говорила, а когда отец не сдерживался, пыталась заставить его замолчать, словно из боязни, что Виттория, где бы она ни была, их услышит и мгновенно громадными прыжками промчится по нашей длинной и резко поднимающейся вверх улице, нарочно собирая и таща за собой всю заразу из близлежащих больниц, взлетит к нам на седьмой этаж и разобьет мебель и всю утварь вылетающими из глаз безумными

черными молниями, а если мама начнет возмущаться, примется хлестать ее по щекам.

Конечно, я догадывалась, что напряженное молчание скрывало что-то из далекого прошлого, некие давно причиненные и полученные обиды, но в то время я почти ничего не знала об истории нашей семьи, а главное — не воспринимала жуткую тетю как ее члена. Она была букой, которой пугают в детстве, прозрачной, еле заметной тенью, лохматым чудищем, притаившимся в углу в ожидании, когда дом погрузится в темноту. И вдруг, совершенно внезапно, я узнаю, что становлюсь на нее похожа? Я? Я, прежде считавшая себя красавицей и благодаря отцу твердо знавшая, что останусь такой навсегда? Я, верившая отцу и полагавшая, что у меня чудесные волосы, я, мечтавшая, что меня будут любить столь же безумно, как любит отец, как он меня приучил? Я, и так уже страдавшая потому, что оба моих родителя оказались вдруг мною недовольны, и теперь переполненная тревогой, которая делала мир вокруг тусклым?

Я ждала, что скажет мама, но ее ответ меня не утешил. Хотя она терпеть не могла всех родственников со стороны мужа и испытывала к золовке такое отвращение, какое испытываешь к ящерице, ползущей по голой ноге, она не крикнула ему в лицо: “Ты с ума сошел, между моей дочерью и твоей сестрой нет ничего общего”. Она лишь коротко, еле слышно проговорила: “Да что ты, вовсе нет”. Я вскочила и быстро закрыла дверь, чтобы не слушать дальше. Потом я плакала в тишине и успокоилась, только когда отец объявил — на этот раз добрым голосом, — что ужин готов.

Я пришла к ним на кухню с сухими глазами. Глядя в тарелку, я вынуждена была выслушивать полезные

советы о том, как наладить учебу. Потом я вернулась к себе, притворившись, что сажусь за уроки, а они устроились перед телевизором. Мне было очень больно, боль не уходила и даже не ослабевала. Зачем отец это сказал, почему мама решительно ему не возразила? Их недовольство было вызвано плохими оценками или тревогой, не связанной со школой и длившейся уже неведь сколько? И главное: отец произнес эти слова потому, что огорчился из-за меня сегодня, или потому, что проницательным взглядом человека, который все знает и видит, давно прочел у меня на лице предвестие моего загубленного будущего, надвигающейся беды, которая вызывала у него отчаянье и с которой он был не в силах справиться? Всю ночь я не находила покоя, а к утру решила: чтобы спастись, мне нужно своими глазами увидеть, какое на самом деле лицо у тети Виттории.

3

Это было непросто. В таком городе, как Неаполь, населенном семействами с многочисленными ветвями, представители которых порой враждовали до кровопролития, но никогда окончательно не сжигали мосты, мой отец умудрялся жить обособленно, словно у него не было кровных родственников, словно он породил себя сам. Разумеется, я много общалась с бабушкой и дедушкой по маминной линии и с маминим братом. Они меня очень любили и заваливали подарками, но потом дедушка и бабушка умерли — сначала он, год спустя она; их внезапное исчезновение меня почти напугало, мама плакала так, как плачут девчонки, когда больно стукнутся. Дядя нашел работу где-то да-

леко и уехал. Но прежде мы с ними часто виделись, нам бывало весело вместе. О родственниках со стороны отца я почти ничего не знала. Они появлялись в моей жизни в редких случаях — на свадьбах или похоронах, когда все старательно изображали сердечные отношения, поэтому с ними у меня было связано чувство, что я выполняю малоприятную обязанность: поздоровайся с бабушкой, поцелуй тетю. К этим родственникам я никогда не питала особого интереса еще и потому, что после подобных встреч родители нервничали и, словно сговорившись, старались сразу о них забыть, словно их заставили участвовать в дешевом спектакле.

К тому же если родители мамы жили в известном мне месте с внушающим уважение названием — Музей (они были музейными бабушкой и бабушкой), то место, где проживали родители отца, оставалось неопределенным и безымянным. Я твердо знала одно: чтобы добраться до них, нужно спускаться вниз, вниз, все время вниз, в самый низ Неаполя. Путь этот был настолько долгим, что тогда мне казалось, будто мы и отцовские родственники живем в двух разных городах. Многие годы я так и считала. Наш дом стоял в самой высокой части Неаполя: куда бы мы ни шли, приходилось спускаться. Отец с мамой с удовольствием спускались в Вомеро, чуть менее охотно — к дому музейных бабушки и бабушки. Друзья родителей жили в основном на виа Суарес, на пьядззельи Артисти, на виа Лука Джордано, виа Скарлатти, виа Чимароза — я хорошо знала те места, потому что там обитали многие мои одноклассники. Не говоря уже о том, что все эти улицы вели на виллу Флоридиана, которую я очень любила, — мама возила меня туда в коляске подышать воздухом и погреться на солнышке, когда я еще не умела ходить, там я часами играла со своими

подружками Анджелой и Идой. И только после этих кварталов, где глаз радовали зелень, проглядывавшее вдалеке море, сады и цветы, где царили веселье и хорошие манеры, начинался настоящий спуск — тот, что вызывал у родителей раздражение. По делам, за покупками, по другим причинам — особенно если это было связано с отцовской работой, встречами или дискуссиями с его участием, родители ежедневно спускались вниз, чаще всего на фуникулере, до Кьяйи или виа Толедо, а оттуда добирались до пьядца Плебишито, Национальной библиотеки, Порт'Альба, виа Вентальери и виа Флорио; самым дальним пунктом была площадь Карла Третьего, где стоял лицей, в котором преподавала мама. Все эти названия я знала назубок — родители упоминали их постоянно, но редко брали меня с собой, наверное, поэтому я не испытывала, слыша их, того же счастья, что отец и мама. За пределами Вомеро лежал не мой город, то есть — почти не мой: чем дальше стелился он по равнине, тем больше казался мне чужим. Поэтому места, где проживала отцовская родня, представлялись мне диким, неизведанным миром. У них не только не было названий: вдобавок, судя по разговорам родителей, туда было совсем не просто добраться. Всякий раз, когда приходилось ехать в тот район, мои обычно бодрые и оптимистичные папа и мама казались на удивление утомленными и встревоженными. Я была маленькая, но их напряжение, слова, которыми они обменивались — вечно одни и те же, — запечатлелись в моей памяти.

— Андре, — еле слышно говорила мама, — одевайся, пора идти.

Но он продолжал читать и что-то пометать в книжке тем же карандашом, которым делал записи в лежащей рядом тетрадке.